

Их 140 разделить на наши 70

Два имени изначально чуждые нам фonetически. Но уже столько лет назад стерся с их родных — английского и французского — особый выговор. И звучат они, и произносятся совершенно по-русски. Без акцента. Дина Дурбин, Жерар Филип. Два имени — одна эпоха, уже не чуждая, а своя, ждущая утешения. Чьей-то волей они соприкоснулись: чужие имена и наша эпоха. Так тесно соприкоснулись, что созрело лица горячее их дыхание с экрана. И сердце созрело. И душу.

Они родились в один день — 4 декабря. От времени пожелтели, потускнели, заслоняемые другими, фотографии. Но сегодня мы вынимаем из альбома воспоминаний и ставим их рядом — Дину Дурбин и Жерара Филипа. И соединяем с нашей новой эпохой. По памяти. Нам сегодня опять надобно утешение.



Теперь кажется, что тогда все время зима была — не белая, с берендеевым пухом-инеем на бульварах, не с музыкой на катках и белыми полями за окном электрички, — нет, черная городская мутная слякоть, подобно нынешней, сырой смог, мокрые снаружи и изнутри трамваи, озябшие кондукторши в перчатках с отрезанными пальцами, все тот же серый дым над серым МОГЭСом, черный лед на Москверке и еще чернее на Язуе.

Школа тоже была грязная, затоптанная, в классе сидели по сорок человек, раздевалка стояла тут же, то есть вешалки вдоль стены, пальто, ватники и шинели с отцовского плеча валялись мокрые на полу, и там затаивались двоечники и хулиганы, в кучу зарывались.

Наши матери, бедно одетые, стояли в очереди в баню — там при входе давали резанный веревкой кубик рыжего мыла или плюхали ложкой жидкого, еще более вонючего. Наши молодые еще, не много старше нас, училки кутались весь день в свои облезлые пуховые платки, носили юбки из офицерской ткани «диагональ», а на своих разнообразных русских ногах — самые разнообразные же опорки, в лучшем случае — подшитые стертые валенки. Красили, правда, губы, закручивали волосы в перманент.

Не забыть, как облупливаешь, лентой тянешь кожуцу с картофелины, сваренной в мундире; буханка хлеба на рынке стоила 500 рублей и столько же бутылка водки — мужики, конечно, все равно пили, бабы ругались на кухне, сосед Вовик с третьего этажа, красавчик-вор, трамвайный щипач бил костылем другого соседа-инвалида Еропкина — этот получил свое прозвище от героя фильма «Близнецы» (кажется, Жаров играл). Он говорил в телефон: «Еропкин на проводе».

В кинозалах тоже было сыро, грязно, воняло перегаром и махрой, парни постарше лапали девок, и они громко томно вякали: «Ну, Петя! Ну ты совсем!». Низкий туман нищеты и беды съедал город, и вдруг — из тьмы и серого холода: «Мне декабрь кажется маем, и в снегу я вижу цветы...»

У нее был дивный голос, а губы, рот, а глаза! Мы знали своих героинь и изрядно уже млели по ним — Серова, Окуневская, Орлова и уже пронеслась вихрем рыжая «оторва», девушка моей мечты Марика Рок, любовь немецких офицеров и самого фюрера — нет, это было чужое, не наше, а вот это — точно была девушкой моей мечты!

Какое обаяние, а овал, а фигура. Но еще более — веселый нрав, лихость, озорство, темперамент. Америка! Мы уже знали Америку — как же, союзники, второй фронт, тушенка, студбеккеры и виллисы, Эйзенхауэр, толстый шоколад, который выдавали только летчикам и подводникам, Америка!

Это был обвал света и музыки с экрана, неведомой жизни в неведомых апартаментах и костюмах, взлетающих женских ног, голливудского карнавального бала, бешеной радости жизни. Нечастный послевоенный люд, замученный тяглом ежедневного прозябания, тяжкого труда, бескормилцы и лжи обо всем на свете, в том числе и о той же Америке, — очнулся, словно в стихах Пушкина: мороз и солнце, день чудесный. Эта жизнь, эта женщина были заряжены тем же, что у Пушкина, пафосом и восторгом жить — ах, как это было хорошо и вовремя.

Она пела, она смеялась своим удивительным ртом, своей улыбкой, обнажавшей тысячу тридцать зубов, она двигалась, как должна двигаться женщина — плавно, быстро, легко и прекрасно. Она валяла дурака и делала глупости, как все американские героини до нее и после, но она делала это по своему, как никто, и осталась навсегда сверхженственной и сверхобаятельной сестрой его дворца.

Ах, Дина Дурбин! Само имя твоё звучало, словно солирующая в оркестре труба. Дина Дурбин — весь город, все люди только и повторяли целый день — Дина Дурбин, Дина Дурбин.

Восхитительный праздник нашего полуприютского отрочества, упавшая в почтовый ящик с неба рождественская открытка с блестящими и заграничной маркой. Сто раз все ходили смотреть ее фильмы, «Сестру его дворецкого», по сто раз, ей-богу! Ну, может, по восемьдесят, по сорок восемь, но не меньше. Однако, дальше уже было не то, тираж — первая вспышка не могла затмить-ся другими.

В прошлом году ей исполнилось 70 лет. Но мы же знаем, какая она, она осталась все та же, иначе не может быть — это же Дина Дурбин.

День в день, 4 декабря, только нынешнего года — 70 — Жерару Филипу. Если Дина осталась для нас навсегда юной сверстницей, подругой наших 13—16 лет, то Жерар тем более всегда оставался молод, даже после своего ухода. С ним связана несколько иная

эпоха и уже другой наш возраст, но легко связать сегодня вместе наших артистов, Дину и Жерара, потому что и он внес в нашу жизнь ту радость, то значение искусства, творчества, которые ничем другим не восполняются, не заменяются и не замещаются. Навалите сейчас миллионы, пригоните транспорты со жратвой, барахлом и чековыми книжками — вы не вернете, не создадите другого Фанфана-Тюльпана, другого Жюльена Сореля.

Таким был только он, один на свете — Жерар Филип.

Как это тоже оказалось кстати для нас, русских мальчиков на пороге шестидесятых, в канун наших подступающих вот-вот битв за справедливость, за правду и за честь, между прочим. Да-да, это подзабытое весьма слово когда-то много значило в русском языке и в российском обиходе. У нас было множество замечательных героев и актеров, их создававших, — одно перечисление заняло бы страницу-другую. Но то-то, а это — это.

Открытие и откровение в искусстве, хочешь не хочешь, связано с личностью, с персоналией. Героини Дины Дурбин легко удавались ей потому, что она сама была такая, индивидуальность — с ее губами, вздернутым носом, цветом волос и тембром голоса, руками, фигурой, нравом и прочее. И ничего, ничего другого, мне кажется, она никогда не играла. Дина Дурбин и все — вот такое кино.

Жерар Филип — тоже свое кино, но совсем другое. И память о нем иная. Мой старший сын однажды в свои девять лет нечаянно взял у меня со стола и заполнил «канкету Маркса»: что вы более всего цените в человеке — в мужчине, в женщине? Мальчик написал: в мужчине — смелость.

Жерар Филип был стуктом мужской смелости. Олицетворением. В мире, провонявшем конформизмом; в мире тухлых собраний, где человек хочет поднять руку за одно, а поднимает за другое; в мире кухонных склок и трамвайных склок из-за трех копеек; в мире победенных победителей и пирующих победенных; в мире ЧК и гестапо, сигуранцы и ГУЛАГа от Веймара до Магадана; в мире робкого студенчества, трусливого начальства, подлых друзей и лениво изменяющих даже любовникам женщин; в мире, где морской офицер способен продать на базаре кортик, а солдат чистит сортир генералу; в мире лжи, стухачества, лицемерия и страха; в мире подлом и скучном вдруг явился рыцарь без

страха, человек чести и веселой отваги.

Фанфан-Тюльпан, артист Жерар Филип, из любимой издревле русским человеком страны Франции — ах, каков он был, бес!

Он тотчас пробурвал душу, он все поставил на место и назвал своими именами: видишь, каков я? как я поступаю? Видишь мою летающую у носа подлеца шпату? Видишь, как надо словчить без подлости и не бояться подлеца? Не спи, мальчик, вспоминай, думай снова и снова, всю ночь, как я прыгнул, как я помчался на коне, как я обдурил этих тупоголовых. Учись, мальчик. Пойди завтра и не бойся, скажи дураку, что он дурак. Не бойся, главное — ничего не бояться и лететь вперед, как стрела. Надо делать то, что хочешь, а чего не хочешь делать, не надо — вот и все. И не жалея себя на это, не береги. Иначе не выйдет ничего. Или будешь таким, как я, или останешься на своей раскладушке лежать и только мечтать о подвигах. Да пойдешь ты и схвати в охапку хоть соседскую Майку, чего ты ждешь, пока другие это сделают? И в институт свой не ходи, чего ты туда ходишь, кем ты будешь, разве уже не ясно? Не бойся, брось, и пойдешь в другой. Это я тебе говорю, Жерар Филип.

Ты меня видел вчера? Мало? Пойди еще посмотри. Запомни, когда тебе будет уже за тридцать, ты повесишь у себя на стене будто плакат страницу из «Юманите», снимок во всю полосу: майская демонстрация в Париже, когда рабочие, студенты и мы, актеры Парижа, сказали самому де Голлю — пардон, мсье, сета-се, хватит, вы нам больше не друг, не вождь, не власть, адъё! В первом ряду этой демонстрации буду идти я, Жерар Филип, все еще молодой, еще живой и веселый. Надо быть живым, веселым и смелым до самого конца, мой мальчик. Я такой. Не знаю, как ты. Мне бы хотелось тебя научить.

Спасибо, Филип, говорю я сегодня, вспоминая его и вспомнив о его юбилее. Спасибо, друг, ты был прекрасен.

Дина Дурбин показала нам, мальчикам, какими должны быть (могут быть) женщины. Ты, юбиляр, показал нам, какими бывают мужчины. Не будем рассусоливать, что вышло из нас каких мы получили в результате женщин, а наши женщины — каких мужчин. Но скажем так нашим кумирам, что труды их, жизни, лица, голоса не прошли даром на свете.

Михаил РОЩИН.